А. Мелихов (С.-Петербург)

Достоевский-социолог. Проблема самоубийства

Минувшее проходит предо мною…

Сегодня трудно представить, что при коммунистах мне отказывались выдать в Публичной библиотеке классический трактат Эмиля Дюркгейма «Самоубийство», – такие вот были государственные тайны, почти сто лет к тому времени открытые всему миру… Поэтому я конспектировал сверхколлективистского Дюркгейма с неким внутренним торжеством, словно это был «Архипелаг ГУЛАГ»: что, взяли?! Еще не зная его конечного вывода, я уже наслаждался мощью дюркгеймовской аргументации, одну за другой отсекавшей все расхожие гипотезы, выводящие уровень самоубийств из бросающихся в глаза материальных обстоятельств: бедность, душевные заболевания, пьянство… Правда, итоговая формула Дюркгейма – рост самоубийств связан с упадком сплоченности общества – показалась мне не совсем удачной: слово «сплоченность» в русском языке ассоциируется с духом взаимопомощи, тогда как многие «сплоченные» общества просто ужасают своим презрением к человеку (но что верно, то верно – о самоубийстве тамошняя раздавленная личность чаще всего не помышляет, наводя на мысль, что есть вещи и пострашнее самоубийства). Мне по-прежнему казалось, что вместо слов «упадок сплоченности» точнее употребить выражение «освобождение личности». Ибо в романе «Горбатые атланты» я уже выстроил собственную художественную модель самоубийства: где-то на краю света рабочий поселок утопает в грязи, бедности, воровстве, пьянстве и тому подобных безобразиях. Некий пророк благодаря своей самоотверженности и организаторскому таланту преображает этот уголок ада в уголок рая: на месте развалюх вырастают чистенькие домики, исчезает национальная вражда, воровство, в либеральных школах чистенькие дети пишут оригинальные сочинения, и – возникают самоубийства. А прежде убивали только других!

Причем кончает с собой именно баловень судьбы – любимый ученик пророка – красивый, талантливый, способный сделаться кем угодно: ученым, общественным деятелем… Но – зачем? Чтобы служить людям? Служить тем, кто ничуть не выше его самого, – с какой стати? «Но я ведь служу», – растерянно бормочет пророк и слышит в ответ: «Я не верю, что вы служите этим заурядным людишкам, не стоящим вашего ногтя. Мне кажется, вы служите какому-то богу, которого скрыли от нас. А нам оставили только прописи: трудитесь, не ссорьтесь, уважайте каждое мнение и каждый обычай... Я до такой степени выучился уважать чужое, что перестал уважать свое. Я завидую своему отцу, который *точно знал*, что хорошо и что плохо: стащить что-то на заводе – значит быть умным, проломить кому-то

башку – значит быть храбрым, а я знаю, что все относительно: где-то стыдно грабить, а где-то трудиться, где-то красивы прямые носы, а где-то приплюснутые…»

И пророк с ужасом понимает, что дал людям комфорт, достаток, вежливость, но *разбил стереотип* их жизни: внес сомнения туда, где прежде все делалось автоматически. А человек силен и спокоен только тогда, когда остается автоматом, управляемым извне, когда по любому вопросу у него имеется единственно правильное мнение. А там, где допускаются два мнения, завтра их будет четыре, послезавтра восемь – они начнут делиться, как раковые клетки… Всеобщее несогласие, то есть всеобщее одиночество, и неуверенность во всем – вот итог свободы и терпимости. Свобода мысли — это рак, оригинально мыслящего человека должно истреблять неизмеримо более неукоснительно, чем скромного убийцу, не покушающегося на общепринятые мнения. Ибо ценность этих мнений только в их общепринятости и заключается – Великий Инквизитор в легенде Достоевского не зря указывал на жажду *совместного* преклонения как на главную жажду человечества, – в этом Достоевский опередил Дюркгейма. И автор этих строк готов дополнить Достоевского лишь в одном пункте: объединять людей способны лишь коллективные фантомы, но никак не материальные интересы, которые могут только разобщать.

Правда, этой жаждой с тех пор столько пользовались фашиствующие пророки всех цветов, что породили либеральную реакцию, стремящуюся, наоборот, изгнать из жизни все объединяюще-сверхличное, – так и борются эти два упростительства: «В мире должны быть только мои святыни» – «В мире вообще не должно быть святынь». В серьезном, то есть трагическом споре всегда правы все: наличие святынь чревато их столкновениями и массовыми человеческими убийствами, отсутствие святынь ведет к самоубийствам и убийствам из-за столкновения индивидуальных интересов. Гуманистическая формула «все должно служить человеку» в затянувшихся мучительных ситуациях обрекает нас на бессилие и отчаяние: человек не может ощущать святыней самого себя.

Как сохранить преданность собственным святыням и одновременно избежать кровопролитного столкновения святынь – сегодня это проблема проблем. Выход, по-видимому, в том, чтобы понять, что по большому счету все святыни не только соперничают, но и дополняют друг друга, служа какому-то более высокому целому. Что это за целое – тоже вопрос вопросов. Но во всяком случае ясно, что чарующей грезы (которая только и может овладеть нашими сердцами) крайне не хватает дюркгеймовской концепции.

Дюркгейм доказал очень убедительно: наш эгоизм желает, чтобы все служило нам, – но наполнить смыслом нашу жизнь способно только то, чему служим мы. И служить, он считал, можно только обществу, ибо выше общества нет ничего: даже Бог есть всего лишь символический образ коллектива.

Отыскивая какие-то опоры для несчастных, теряющих волю к жизни, невольно добираешься до предметов самых выспренних. Чтобы человек заболел гриппом, необходимы два условия: попадание микроба в организм и – ослабление

иммунной системы. Чтобы человек покончил с собой, с ним должно случиться несчастье и – ослабеть сопротивляющаяся сила духа. Первый фактор все видят очень ясно, о втором же чаще всего не задумываются. А между тем он-то и есть главный – по крайней мере статистически выявляется только он: в годы войн, когда количество бед неимоверно возрастает, уровень самоубийств обычно резко снижается. Трагический облик мира наконец-то начинает казаться нормой, возникает Общая Беда, не позволяющая чересчур зацикливаться на собственных… Работая с несостоявшимися суицидентами, я убедился, что их несчастья хотя и тяжелы, но не более ужасны, чем несчастья тысяч и тысяч людей, не помышляющих всерьез о добровольной гибели – обычно из-за того, что они сами ответственны за кого-то другого.

Однако из практической работы с отчаявшимися людьми я вынес еще одно важное наблюдение: людей добивает не столько само несчастье, сколько ничтожность, некрасивость этого несчастья. И если мне удавалось сформировать у человека красивый образ своей трагедии, это уже становилось серьезным шагом, уводящим от пропасти.

Иными словами, затасканная формула о спасительности красоты обретала самое что ни на есть прикладное значение: красота действительно спасала людей.

Немного цифр и фактов

Эту главу можно считать развернутым комментарием к предыдущей. Итак…

Спасительная роль объединяющих святынь, мобилизующая роль красоты подтверждаются суицидологической практикой. Однако для трезвых умов такие высокопарности, как Дух, Культура, – это в лучшем случае глазировка на булочке. А потому бывает особенно приятно, когда практические деятели признают жизненно важными невещественные ценности. На Четвертом перестроечном съезде народных депутатов СССР профессиональный знаток человеческой души – директор госплемсовхоза А. Долганов объявил, что в нашей стране ежегодно кончают с собой около 60 тысяч человек – из-за тяжелого материального положения и поругания таких святынь, как Ильич и революция. Знал ли этот коммунистический печальник, что за те десятилетия (1965–1985), когда подобные святыни царили над страной, число самоубийств удвоилось – с 39,5 до 81,5 тысячи? Зато с началом безбожного очернительства эта цифра упала ниже 60 тысяч, которые народный избранник и пытался «повесить» на перестройку? И, однако же, автор этих строк согласен со знатоком скотоплеменного сердца: упадок коллективных иллюзий – мощнейший фактор роста самоубийств, наркомании, немотивированной преступности... Только судя по неуклонному росту самоуничтожений в эпоху застоя, коммунистические иллюзии умирали, невзирая ни на какие оды и эпопеи.

Предваряя аргументацию, открою итог: *не существует никакой связи между числом самоубийств и материальными условиями жизни людей* (бытие не определяет сознания). Несмотря на то, что почти каждому дилетанту и без аргументации все понятно. Скажите ему, что чаще всего кончают с собой старики, – разуме-

ется, старость не радость. Скажите, что молодые, – еще бы, у них порывы и незрелость. Скажите, что бедные, – разумеется, от лишений. Богатые – зажрались. Образованные – от большого ума, необразованные – от малого, пьющие – от водки, непьющие – от неумения расслабиться и т.п.

Вам не удастся сочинить такой нелепости, о которой он не сказал бы: «Я так и знал». Но среди противоречивых, исключающих друг друга объяснений вы заметите одну закономерность: причины будут приводиться сугубо материальные – имущественные, медицинские, но никогда – духовные, связанные со взглядами людей, их нравами, вкусами, ценностями. Учение Маркса сделалось всесильным не из-за «еврейских происков» и уж тем более не потому, что оно верно, а потому, что оно отвечало глубочайшей человеческой потребности – жажде примитивности, жажде иметь элементарный и универсальный ответ на сложнейшие вопросы мироздания.

Однако вопреки животному материализму для человека важнее не столько то, что с ним происходит, сколько то, как он к этому относится, и разгадка проблемы самоубийства кроется главным образом не в материальном быте людей, а в их мнениях, нравах, отношениях друг с другом: ни одна материальная закономерность не сохраняется при переходе к новому социуму или временному отрезку. Вопреки распространенному мнению люди с возрастом кончают с собой все чаще и чаще (хотя максимум суицидальных попыток приходится на 16–24 года), однако в некоторых странах – в том числе и в былом СССР – выделяется относительный пик в возрасте «предварительных итогов» 45–54 года. Но в 1920-е годы $^{3}/_{4}$ попыток и $^{2}/_{3}$ завершенных самоубийств приходилось на возраст до 30 лет. А в Израиле, Исландии, Новой Зеландии – что в них общего? – наблюдается снижение самоубийств в «стариковской» группе. Шри-Ланка же дает безумный пик в группе 15–24 года (мужчины – 70, а женщины – 55 ежегодных самоубийств на 100 тысяч человек).

Обычно в бедных странах в несколько раз меньше самоубийств. Но в Венгрии в ту пору, о которой идет речь, было 56 мужских и 25 женских ежегодных самоубийств на 100 тысяч соответствующего населения, а в куда более процветающей Швеции – 28 и 11. А в похожей на нее Норвегии – 17 и 6. А в похожей Финляндии – 41 и 10. Попробуйте разглядеть закономерность: ГДР – 46 и 28, ФРГ – 30 и 16, Австрия – 35 и 15, Дания – 30 и 17, ЧССР – 32 и 12, Япония – 22 и 14, Куба – 20 и 14, США – 19 и 7, Франция – 23 и 9, Болгария – 21 и 9, Канада – 18 и 7, Польша – 21 и 4, Австралия – 16 и 6. Как видите, самоубийств среди женщин меньше, но суицидальных попыток больше (данные не самые свежие, но суть верна).

В Англии более всего были склонны к самоубийству высшие классы, затем чернорабочие, на последнем же месте – квалифицированные рабочие. С другой стороны, в США уровень самоубийств среди белых в 2,5 раза был выше, чем среди цветных. В начале XX в. было твердо установлено, что самоубийства – болезнь больших городов, но вот в Ленинграде в 1989 году произошло 844 самоубийства, а в Ленинградской области – около 440, то есть «на душу населения» значительно больше…

Понять глубинные причины роста самоубийств невозможно, не вглядываясь в духовные факторы – незримые опоры человеческого бытия. С замечательной зоркостью сумел это сделать Эмиль Дюркгейм в изданном в 1897 году трактате «Самоубийство».

Многие люди переносят самые ужасные несчастья, не помышляя о самоубийстве. Вместе с тем Дюркгейм отмечает, что нет огорчения настолько пустякового, чтобы оно не могло стать причиной добровольной гибели, – это заставляет искать истинную причину утраченной стойкости где-то глубже: закономерный, устрашающий рост самоубийств во всей цивилизованной Европе (в несколько раз за вторую половину XIX века – во Франции их число удваивалось каждые 30 лет) не мог бы зависеть от будничных бед, которых во все времена было предостаточно. Дюркгейм практически исключает внешние материальные факторы; о биологических не может быть и речи – биологические параметры не способны так резко меняться. Уровень потребления алкоголя тоже не главная причина: пьянство больше распространено в низших классах общества, а самоубийства – в высших; больше вина пьют на юге, а самоубийств больше на севере. И вообще, если человек сначала пил, а потом повесился, это вовсе не означает, что повесился он оттого, что пил: и пьянство, и самоубийство могут быть просто последовательными стадиями единого процесса. Алкоголиков у нас сегодня раз в десять больше, чем алкоголичек, но суицидальных попыток среди последних, по некоторым данным, больше в несколько раз – отчего бы алкоголю так по-разному действовать на женщин и мужчин? Вот социологический портрет, так сказать, рядовой алкоголички и алкоголички-суицидентки. Рядовая: воспитывалась в неполной семье, образование ниже среднего, имеет собственную семью, мотивы алкоголизации интерперсональные, форма потребления алкоголя систематически-групповая, тип деградации эксплозивный. Суицидентка: воспитывалась в полной семье, образование выше среднего, не отягченная алкоголем наследственность, мотивы алкоголизации интраперсональные, форма потребления алкоголя запойно-одиночная, тип изменения личности астенический. Как видите, рядовая алкоголичка включена в породившую ее среду, суицидентка же ни с кем не разделяет свой образ жизни, так не соответствующий устоям, в которых она была воспитана.

В этом и заключается, по Дюркгейму, глубинная причина: разрыв связей со своим кругом, утрата твердых, не вызывающих сомнений жизненных правил. Частоту самоубийств, на поверхностный взгляд, в его время увеличивал рост образования и благосостояния, но этому резко противоречила одна социальная группа: евреи – не местечковые, живущие в изоляции, а просвещенные, ассимилировавшиеся европейские иудеи, вполне усвоившие европейскую культуру и деловые навыки и ни имущественно, ни профессионально не выделявшиеся из обычного городского населения. Но евреям не страшно даже образование: относясь в социокультурном отношении к наиболее суицидоопасным слоям населения – дельцы, люди свободных профессий, – они выделялись из них пониженным уровнем самоубийств: их охраняла принадлежность к отчетливо очерченной общине, за-

мешенная на религии регламентация быта. Разумеется, еврей-мясник и еврей-профессор верили очень по-разному, причем профессор (адвокат или писатель) зачастую и вовсе ни во что не верил, однако и скептики почитали в религиозных обрядах древний неприкосновенный обычай. Ритуал важнее мистической веры, полагал Дюркгейм, если только он почитается: в религии важнее всего совокупность неприкосновенных общественных обычаев. И чем большую свободу мыслей и отступлений от обрядов она предоставляет, тем шире круг самоубийц: их, в частности, больше среди протестантов, чем среди католиков[1].

Подчинение желаний индивида некоему общепринятому духовному руководству Дюркгейм назвал сплоченностью общества. В падении сплоченности он и усматривал глубинную причину роста самоуничтожений. Однако этого рода «сплоченность» вовсе не означает взаимной любви – уменьшение самоубийств может идти рука об руку с возрастанием преступности. Кастовые, патриархальные общества с низким уровнем самоубийств современному человеку представляются просто ужасными, но – в них и угнетатели, и угнетенные, и даже преступники одинаково смотрят на вещи, существующий порядок представляется им единственно возможным, они имеют объекты совместного поклонения.

Именно освобождение желаний из-под контроля общества, утрата единства норм и ценностей, по мнению Дюркгейма, являются причиной резко повышенного уровня самоубийств в двух группах: люди свободных профессий и дельцы.

Люди свободных профессий, составляя наиболее культурную часть общества, лучше других понимают, что под луной нет ничего абсолютно справедливого, абсолютно достойного, абсолютно красивого, – что считается красивым у одних народов, безобразно у других, достойное сейчас считалось позорным вчера: где-то считается красивым прямой нос, а где-то приплюснутый, где-то невинность девушки свидетельствует о ее непорочности, а где-то всего лишь о непривлекательности, где-то превыше всего ценится талант, а где-то родовитость, где-то стыдно красть, а где-то стыдно трудиться. Все бренно, все преходяще, ничто не вызывает безоговорочного восторга и безоговорочной, не рассуждающей ненависти – а потому и ни одна цель не захватывает до конца.

Культурному человеку, «умнику» обычаи собственного народа не представляются единственно возможными, а неспособность толпы усомниться в них лишь усугубляет презрение к людям – с их преклонением перед властью, богатством, ловкостью, жестокостью, с их примитивными вкусами, с их доверчивостью к нелепым и злобным слухам, к демагогам и колдунам (экстрасенсам) – и недоверием к пророкам и ученым... Все так, но драма в том, что люди представляют собой практически единственную земную цель всякого творчества. И если ты не способен служить каким-то абстрактным ценностям вроде Науки, Искусства, Милосердия, то все твои дарования остаются невостребованными, и тогда они своей ненужностью начинают разъедать тебя изнутри.

Одиночество – это не отсутствие собутыльников, одиночество – это любовь к чему-то, которую никто не разделяет. Например, любовь к своему таланту...

Самоубийства этого рода Дюркгейм называет эгоистическими – именно пренебрежение к людям, считает он, оставляет твою жизнь без цели.

Но ведь все эти утонченности недоступны «делягам», на первый взгляд, сориентированным на собственное брюхо? Однако и они озабочены вовсе не брюхом, а социальным успехом, а последний – не имеет естественных границ. Желаниям может положить границу лишь авторитет, который мы уважали бы внутри себя, а не напоказ. В патриархальном, замкнутом обществе роль такого ограничителя исполняет общепринятый обычай: парий не мечтает стать брамином, а крепостной – барином.

Но в обществе, нацеленном на безграничное обогащение, на безграничное движение ввысь, для притязаний исчезают всякие рамки – дельцы более всего страдают от непомерно разрастающихся аппетитов: они легко «рискуют необходимым в надежде приобрести излишнее», а неудача представляется вселенской катастрофой...

Итак, «умники» утрачивают цель своей деятельности, а «деляги» – границы своих потребностей. В итоге же именно не вызывающие сомнений сверхличные цели и ценности, пусть неосознанные, дают человеку силы бороться с личными невзгодами.

Но в сегодняшнем мире прочными кумирами, вероятно, могут оставаться только духовные – все остальное меняется слишком быстро. Сегодня культура из роскоши превращается в средство выживания. В начале XX века рост образования резко увеличивал вероятность самоубийства. Революция, по-видимому, лишь усугубила этот процесс: по оценке Л. Лейбовича (1923 год), грамотность увеличивала склонность к самоубийству в 3–4 раза, а высшее образование – чуть ли не в 50 раз. Но в последние годы советской власти картина была обратной: среди людей с высшим образованием уровень самоубийств был понижен примерно в 1,5 раза, а отсутствие среднего образования в 2,5 раза увеличивало его. Ибо необразованность уже не связана с приверженностью к традициям, нынешний крестьянин такой же прагматик, как и банкир. Зато больше всего спасительных иллюзий сегодня, на мой взгляд, осталось у интеллигенции.

Многое с тех пор переменилось – самоубийства в Венгрии несколько пошли на убыль, хотя жизнью там недовольны все, кого я ни спрашивал, но – что же делать, жить-то надо! Только в этом и вся разница – то казалось, что «не надо», а теперь кажется, что «надо». Боюсь, по единственной этой причине наши самоубийцы сегодня опередили венгерских. А в Соединенных Штатах негры стали чаще убивать себя из-за повышения жизненного статуса: получая образование, они отрываются от привычной среды, а в новом, хотя и более высоком общественном слое пока что не принимаются до конца, да, может быть, и сами не вполне принимают его. Самоубийства сопутствуют всяким обновлениям – и в худшую, и в лучшую сторону.

В Германии позапрошлого века ситуация после франко-прусской войны была полностью противоположна нашей – не развал, а объединение страны, не «бег-

ство» капиталов, а их приток из-за границы (огромные репарации), не экономический спад, а экономическое оживление – и сопутствующий этой недосягаемой мечте стремительный рост самоубийств. И стремительное их падение с началом Первой мировой войны – при сопутствующем падении уровня жизни и нарастании всевозможных тревог и ужасов: возникает общее дело, в несчастьях начинают видеть норму жизни…

Сегодня в тех странах, где реформы идут сравнительно успешно (Польша, Чехия), уровень самоубийств все равно существенно выше дореформенного. В прибалтийских же республиках эта тенденция выражена еще более отчетливо. Зато в России уровень самоубийств в образованном слое по-прежнему ниже, чем в необразованном, – хотя и бедность, и утрата статуса особенно больно ударила именно по интеллигенции. Впрочем, старых добрых большевиков не смущала и обратная картина: судя по отрывочным публикациям, уровень самоубийств среди лиц с высшим образованием в 1920-е годы в десятки раз превосходил средний уровень. Который, впрочем, тоже рос: с 1923 по 1926 год – в полтора (!) раза. Однако нарком Семашко тогда не без гордости писал, что возросший уровень самоубийств среди женщин свидетельствует об их возросшей социальной активности. Дело знакомое: «наши» самоубийства – самые прогрессивные. Тем не менее вскоре было сочтено более благоразумным вообще закрыть тему – оказалось, на 60 лет. Но любопытно напоследок взглянуть, до какой степени Октябрьская революция годилась на роль снижающего уровень самоубийств «общего дела», каковым, несомненно, была «Германская». Посмотрим сначала на Петербург: 1913 год – 29 самоубийств на 100 тыс. жителей, 1915 – 11 (!), 1917 – 10, 1919 – 24 (рост в 2,5 раза!), 1922 – 30, 1925 – 34. В Москве в эти же годы соответствующие цифры менее выражены, но качественно сходны: 1913 – 21, 1915 – 11, 1917 – 7, 1919 – 9, 1922 – 14, 1925 – 17[2]. По сравнению с 1917-м годом рост в 2,5–3 раза! Где же вы были, тогдашние депутаты и директора племсовхозов?

Сегодня россиянам непрестанно навязывается абсолютно неверный их образ, образ к тому же бесплодный и деморализующий — это образ беспомощных жертв кучки мошенников и политиканов, а не портрет участников трудного, мучительного, но огромного и важного общего дела, гуманистического возрождения России, – но тут уж «прогрессивные» СМИ вполне могут соперничать с «реакционными». Пигмеизация политики, которой наперебой занимаются защитники униженных и оскорбленных, наиболее болезненно отражается именно на тех, кого они якобы защищают.

---

[1] Это наблюдение Дюркгейма впоследствии оспаривал его ученик М. Хальбвакс.

[2] *Гилинский Я., Румянцева Г.* [Основные тенденции динамики самоубийств в России] // Петербургская социология. 1997. № 1.